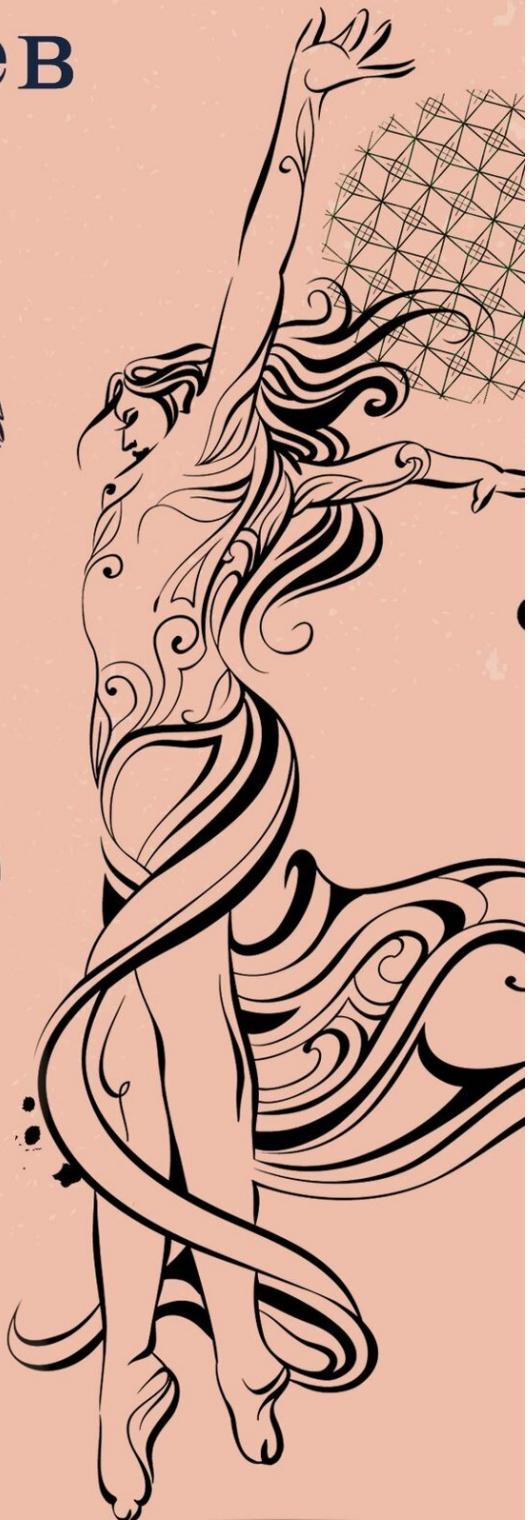
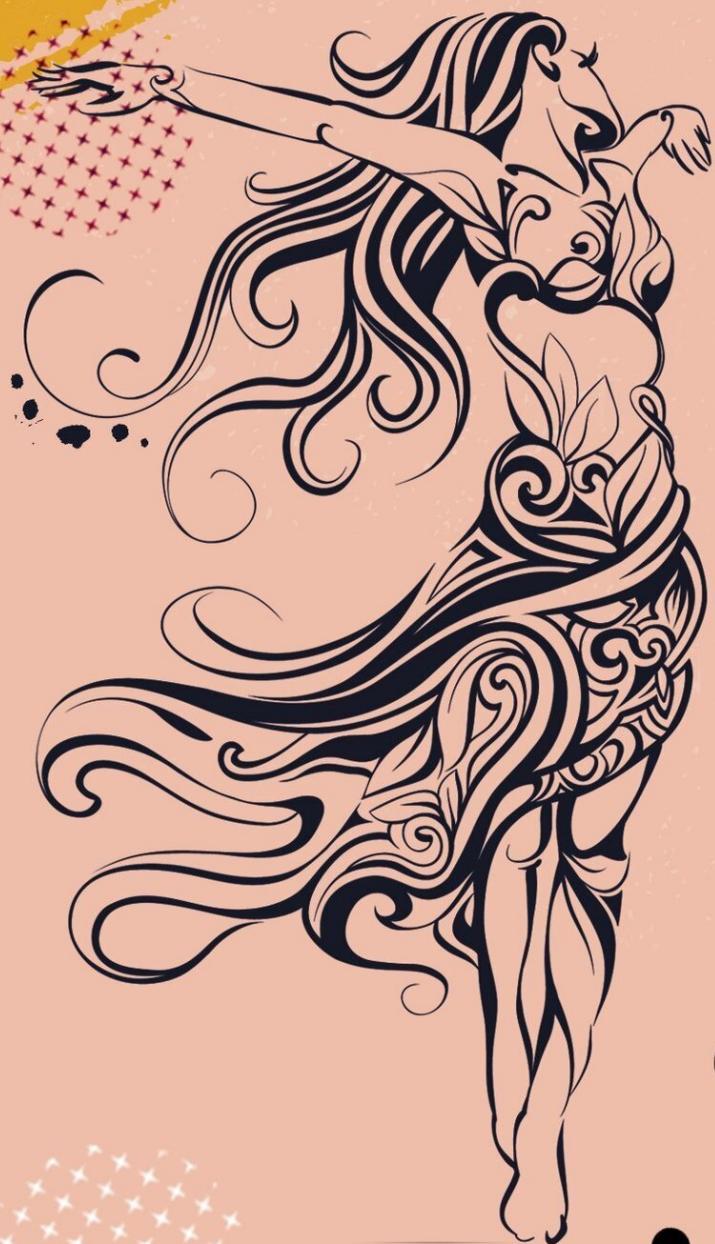


виктория
мас

бал безумцев



Шорт-лист. Новые звезды

Виктория Мас

Бал безумцев

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(4Фра)-44

Mac B.

Бал безумцев / В. Mac — «Издательство АСТ», 2019 — (Шорт-лист. Новые звезды)

ISBN 978-5-17-121895-9

Действие романа происходит в Париже конца XIX века, когда обычным делом было отправлять непокорных женщин в психиатрические клиники. Каждый год знаменитый невролог Жан-Мартен Шарко устраивает в больнице Сальпетриер странный костюмированный бал с участием своих пациенток. Посмотреть на это зрелище стекается весь парижский бомонд. На этом страшном и диком торжестве пересекаются судьбы женщин: старой проститутки Терезы, маленькой жертвы насилия Луизы, Женевьевы и беседующей с душами умерших Эжени Клери. Чем для них закончится этот Бал безумцев?

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-121895-9

© Mac B., 2019

© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	21
Глава 4	26
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Виктория Mac

Бал безумцев

Victoria Mac

LE BAL DES FOLLES

Published by arrangement with

SAS Lester Literary Agency & Associates

© Editions Albin Michel – Paris 2019

© Павловская О., перевод, 2020

© ООО «Издательство ACT», 2020

Глава 1

ЖЕНЕВЬЕВА

3 марта 1885 г.

— Луиза, пора.

Женевьевеа одной рукой сдергивает одеяло, под которым девочка-подросток еще спит, свернувшись клубком на узком матрасе; густые темные волосы рассыпались по подушке, под ними видна лишь часть лица. Луиза тихонько посапывает с приоткрытым ртом. Она не слышит, как вокруг, в дормитории, уже встают женщины. Между рядами железных кроватей вырастают силуэты; женщины потягиваются, воздевають руки, подбирав волосы в шиньоны, застегивают чернильно-черные платья поверх полупрозрачных ночных рубашек и монотонными шажками бредут к столовой под бдительными взорами санитарок. Солнце робко просеивает свет сквозь запотевшие оконные стекла.

Луиза всегда просыпается последней. Каждое утро кто-нибудь из умалишенных — соседок по дормиторию — или одна из медсестер приходит ее будить. Сумерки приносят облегчение, и девушка проваливается в сон, столь глубокий и крепкий, что в нем нет места видениям. Когда спишь, не думаешь о том, что случилось в прошлом, и можно не переживать о будущем. Для Луизы это единственная возможность забыть ненадолго о тех событиях, что три года назад привели ее сюда.

— Вставай, Луиза. Тебя ждут.

Женевьевеа трясет девушку за плечо — та наконец открывает один глаз, поначалу приходит в изумление, увидев у своей постели ту, кого умалишенные прозвали Старожилкой, а потом спохватывается:

— У меня сеанс!

— Собирайся скорей, ты долго спала.

— Да!

Луиза спрыгивает с койки — ноги вместе, приземляется на обе — и хватает со стула платье из черного сукна. Женевьевеа, отступив в сторонку, наблюдает за ней. Опытный глаз подмечает суетливые движения, неуклюжий наклон головы, учащенное дыхание. Но очередной припадок был у Луизы только вчера — можно не опасаться, что это повторится до сегодняшнего сеанса.

Девушка торопливо застегивает пуговицы на воротничке платья и поворачивается к сестре-распорядительнице. Женевьевеа, всегда прямая как палка, в белоснежной казенной одежде, с аккуратно собранными в шиньон белокурыми волосами, заставляет ее работать, хотя за время, проведенное здесь, Луиза немного примирилась с суровостью этой женщины. Женевьевеа не упрекнешь в том, что она несправедлива или жестока с пациентками, просто не внушишь никому ни любви, ни привязанности.

— Всё правильно, мадам Женевьевеа?

— Распусти волосы. Доктор предпочитает распущенные.

Луиза вскидывает полные руки к сооруженному в спешке шиньону. Она еще совсем дитя, хоть и выглядит старше. В свои семнадцать полна детских восторгов и воодушевления. Тело расцвело слишком быстро — грудь и бедра округлились в четырнадцать лет, и возраст не уберег ее от последствий сладострастия, которое они пробуждали. Невинность почти исчезла из глаз Луизы — почти, и это давало надежду, что для нее все изменится к лучшему.

— Я так волнуюсь...

– Доверься доктору, и все пройдет хорошо.
– Да.

* * *

Женщина и девушка идут по больничному коридору. Мартовский утренний свет просачивается в окна и разливается по плитке пола, слабо поблескивая, – это ласковое сияние, предвестье весны и средопостного¹ бала, дарует желание улыбаться и обещание, что скоро можно будет покинуть эти стены.

Женевьеве чувствует, что Луиза нервничает – та шагает, опустив голову, брезвально свесив руки, учащенно дыша. Пациенток этого заведения всегда охватывает беспокойство перед встречей с самим Шарко, особенно если они избраны для участия в сеансе гипноза. Их пугает такая ответственность, тревожит необходимость предстать перед большим количеством людей. Жизнь не баловала этих женщин вниманием окружающих, всеобщий интерес им непривычен и вгоняет в ступор, заставляя терять рассудок – в очередной раз.

Еще несколько коридоров, распашные двери – и они входят в небольшое помещение, смежное с залом для публичных лекций. Несколько мужчин – врачи, интерны, студенты-медици – уже ждут с записными книжками и перьями наготове. Все как один подтянутые, в черных костюмах и белых сорочках; над верхней губой у каждого торопящатся усы. Мужчины одновременно оборачиваются к предмету сегодняшнего изучения, скользят по телу тренированными взглядами, словно скальпелями, отсекая лишнее, – Луизе кажется, будто они смотрят сквозь ее платье, и в конце концов девушка под любопытными взорами опускает глаза.

Здесь только одно знакомое лицо – Бабинский, ассистент доктора Шарко. Он подходит к Женевьеве:

– Зал скоро заполнится. Начнем через десять минут.
– Вам понадобится что-нибудь особенное для Луизы?
Бабинский окидывает девушку взглядом с головы до ног:
– И так сойдет.

Женевьеве кивает и собирается выйти из «предбанника», но Луиза встреможено застывает ей путь:

– Вы ведь за мной вернетесь, мадам Женевьеве?
– Как обычно, Луиза.

Из-за кулисы, скрывающей сцену в зале, Женевьеве оглядывает ряды зрителей. Эхо низких голосов набирает силу над деревянными скамьями и заполняет все пространство. Лекторий в Сальпетриер напоминает не столько больничное помещение, сколько музей, а скорее – кунсткамеру. Здесь картины и гравюры, висящие на стенах, и росписи на потолке являются взорам анатомические схемы и тела. В композициях – смешение безвестных персонажей, обнаженных и одетых, смятенных и потерянных; рядом со скамьями – тяжелые, покосившиеся от времени шкафы со стеклянными дверцами выставляют на обозрение коллекцию сувениров, всё, что больница оставляет себе на память: черепа, берцовые и тазовые кости, ребра, десятки банок с заспиртованными органами, мраморные бюсты и россыпи инструментов. Уже само убранство этого зала сулит зрителям нечто необычное.

Женевьеве рассматривает публику. Некоторые личности ей известны; кроме интернов и врачей, она узнаёт писателей, журналистов, политических деятелей, художников, и на их лицах любопытство соседствует с заведомым одобрением или, наоборот, со скептицизмом. Женевьеве испытывает чувство гордости. Она гордится, ибо лишь один человек в Париже способен внушать к себе такой интерес, что ради него каждую неделю заполняются скамьи в этом зале. А

¹ Средопостье – середина Великого поста, время общественных увеселений во Франции. (Здесь и далее примеч. пер.)

вот и он сам – появляется на сцене, и зрители умолкают. Внушительный силуэт Шарко вырисовывается напротив завороженной публики. Он серъезен и бесстрастен. Долгий профиль напоминает о греческих статуях – в нем столько же изящества и достоинства. У Шарко внимательный и невозмутимый взгляд врача, который годами изучал женщин, уязвимых и уязвленных, отвергнутых собственной семьей и обществом. Он знает, сколь велики надежды, возлагаемые на него душевнобольными. Знает, что его имя гремит на весь Париж. Этого человека наделили полномочиями, и теперь он использует свою власть во благо, с глубочайшей убежденностью, что она получена не напрасно, ибо его редкий дар способствует развитию медицины.

– Господа, приветствуя вас и благодарю за то, что вы сюда пришли. Сегодняшняя демонстрация будет представлять собой сеанс гипнотического воздействия на пациентку с тяжелой формой истерии. Ей семнадцать лет, и за те три года, что она находится здесь, в Сальпетриер, мы наблюдали у нее две с лишним сотни припадков. Гипноз позволит нам воспроизвести у девушки еще один истерический припадок и исследовать все его симптомы. Эти симптомы, в свою очередь, дадут нам возможность больше узнать о физиологическом процессе истерии. Благодаря таким пациенткам, как Луиза, наука и медицина движутся вперед.

Женевьеве едва заметно улыбается. Всякий раз, глядя на Шарко, который обращается с речью к аудитории, нетерпеливо ждущей очередную демонстрацию, она думает о том, с чего этот человек начинал. У нее на глазах он занимался исследованиями и наблюдениями, лечил, вел записи, старался понять, делал открытия, на которые до него никто не был способен, думал так, как никто не думал до него. Шарко был для Женевьевы живым воплощением медицины во всей ее полноте, истине и благе. Зачем поклоняться богам, если есть люди, подобные Шарко? Нет, не совсем так – Шарко единственный, таких больше нет. Она гордится, да, гордится и чувствует себя избранной, ибо уже почти двадцать лет ей доводится вносить свой вклад в труды и достижения знаменитого парижского невролога.

Бабинский выводит на сцену Луизу. Десять минут назад она умирала от страха, теперь же все изменилось: расправив плечи, выпятив грудь, задрав подбородок, девушка идет к публике, которая ждет только ее. Она больше не боится – для нее настал момент славы и признания. Для нее и для маэстро.

Женевьеве знает все слагаемые ритуала. Сперва перед лицом Луизы плавно раскачивается маятник, взгляд ее голубых глаз замирает, диапазон качания сокращается, и вот она уже заваливается вперед – два интерна ловко подхватывают бывольное тело. Луиза с закрытыми глазами подчиняется любой команде, для начала выполняет простые движения – поднимает руку, поворачивается вокруг своей оси, сгибает ногу в колене, как послушный солдатик. Затем принимает позу по новому требованию: молитвенно складывает ладони, вскидывает голову, взывая к небесам, изображает распятие. Постепенно то, что должно быть простой демонстрацией силы внушения, превращается в грандиозное зрелище, наступает «фаза больших движений», как возвещает Шарко. Теперь Луиза уже не получает указаний – она на полу и движется сама по себе, сплетает ноги, заламывает руки, совершают рывки из стороны в сторону, падает на спину, перекатывается на живот, конечности напрягаются так, что больше не могут сгибаться, на лице смесь муки и наслаждения, хриплое дыхание вырывается в ритме охвативших тело судорог. Суеверные невежды сказали бы, что она одержима бесами, – впрочем, и среди просвещенных зрителей кое-кто украдкой осеняет себя крестным знамением… Последняя конвульсия опять бросает ее на спину – голые пятки и затылок упираются в пол, тело выгибается, образуя кругую дугу от шеи до голеней. Темные волосы метут пыль по сцене; позвоночник, принялший форму перевернутой буквы U, вот-вот хрустнет от напряжения. Наконец искусственно вызванный припадок утихает – девушка с грохотом обрушивается на доски настила под ошеломленными взорами.

Благодаря таким пациенткам, как Луиза, наука и медицина движутся вперед.

* * *

За пределами Сальпетриер, в салонах и кофейнях, бытуют свои представления о том, что творится в так называемом отделении истеричек, возглавляемом Шарко. Люди воображают себе обнаженных женщин, которые мечутся по коридорам, боятся лбом о стены, раскидывают ноги, принимая вымыщенного любовника, и воем воют с утра до ночи. В фантазиях обывателей тела безумных сотрясаются в конвульсиях под белыми простынями, развеиваются косматые волосы, кривятся в гримасах женские лица – старые, заплывшие жиром, уродливые. Считается, что этих женщин нужно держать подальше от общества, даже если для такой меры нет конкретной причины, поскольку они не нарушили нормы морали и не совершили иного преступления. В тех, кто не терпит малейших отклонений от нормы, будь они буржуа или пролетарии, мысли об умалишенных в Сальпетриер будят желания и обостряют страхи. Безумные женщины завораживают их и наводят ужас. И если бы нынешним утром эти люди явились в Сальпетриер на экскурсию, их разочарованию не было бы предела.

В просторном дортуаре спокойно совершаются будние дела: женщины протирают пол под железными койками и в проходах, кто-то наспех моется банной рукавичкой над кадкой с холодной водой; одни еще лежат, сломленные усталостью и тягостными мыслями, – у них нет желания ни с кем общаться; другие расчесывают волосы, тихонько переговариваются парочками, смотрят в окна на прступивший в тусклом свете парк, где снег пока что борется за жизнь. Тут есть женщины всех возрастов – от тринацати до шестидесяти пяти, брюнетки, блондинки и рыжие, худые и толстые. Все одеты и причесаны, как обычные горожанки, блюдущие приличия. Ничего общего с гнездом порока, образ которого засел в несведущих головах, – этот дортуар скорее походит на часть дома отдыха, отведенную истеричкам. И лишь присмотревшись к здешним обитательницам повнимательнее, начинаешь различать тревожные признаки: вон там сведенная судорогой рука прижата к груди, кулак стиснут, кисть неестественно вывернута; здесь кто-то моргает быстрее, чем бабочка машет крыльями, а оттуда на тебя пристально таращатся одним глазом, зажмутив другой. Здесь под запретом звуки духовых и камертонов, иначе некоторые могут впасть в каталепсию. Та женщина зевает без передышки, а эта пребывает в постоянном беспорядочном движении. Ты то и дело ловишь подавленные, отстраненные или преисполненные глубочайшей меланхолии взгляды. А время от времени воцарившийся хрупкий покой в дортуаре нарушают пресловутые истерические припадки: женское тело вдруг начинает извиваться на кровати или на полу, борется с незримым противником, изгибается, бьется, встает дугой, скручивается в узел, пытается вырваться из своего плена и не может. К женщине спешат со всех сторон, какой-нибудь интерн нажимает двумя пальцами ей на живот в том месте, где находятся яичники, и это давление успокаивает безумную. В самых тяжелых случаях припадочной накрывают нос и рот тряпицей, смоченной эфиром, – тогда ее глаза закрываются, и приступ проходит.

Истерички не пляшут здесь босыми в стылых коридорах. Изо дня в день они ведут безмолвную борьбу за то, чтобы стать нормальными.

* * *

Вокруг одной койки столпились женщины – смотрят, как Тереза вяжет шаль. Девушка с замысловатой прической – длинной косой, уложенной в венок, – подходит поближе к той, кого здесь кличут Вязунье:

- Это ведь для меня, да, Тереза?
- Я обещала Камилле.
- А мне ты обещала уж не помню когда.

– Я две недели назад связала шаль – она тебе не понравилась, Валентина, так что жди теперь.

– Злюка!

Валентина удаляется с обиженным видом; она уже сама не замечает, что у нее нервно подергивается правая рука, а по ноге то и дело пробегает дрожь.

Женевьевеа тем временем в паре еще с одной медсестрой помогает Луизе улечься на койку. Совсем ослабевшая девушка находит в себе силы улыбнуться:

– Я все сделала правильно, мадам Женевьевеа?

– Как обычно, Луиза.

– Доктор Шарко мной доволен?

– Он будет доволен, когда вылечит тебя.

– Я видела, как они на меня смотрели… все они… Я стану такой же знаменитой, как Августина, да?

– Отдыхай, Луиза.

– Я стану новой Августиной… Обо мне будет говорить весь Париж…

Женевьевеа укрывает одеялом изнуренное юное тело. Девушка уже заснула с улыбкой на бледном лице.

* * *

На улице Суффло хозяйничает ночь. Пантеон, прибежище прославленных имен, чьи обладатели спят в этой каменной толще, приглядывает с высоты за Люксембургским садом, что прикорнул в конце дороги. Между ними, на шестом этаже жилого дома, распахнуто окно. Женевьевеа смотрит на тихую улицу, у рубежей которой с одной стороны высится величественный силуэт памятника мертвцам, а с другой раскинулся парк, где каждое утро по зеленым аллеям и цветущим лужайкам среди статуй прогуливаются дети и влюбленные.

Вернувшись со службы ранним вечером, Женевьевеа в который раз выполнила привычный, обыденный ритуал. Сначала расстегнула белый халат и, прежде чем повесить его в шкаф, машинально проверила, не запачкался ли, нет ли пятен крови. Затем умылась в уборной на своей лестничной площадке – порой ей там встречались другие обитатели того же этажа, к примеру девочка пятнадцати лет и ее мать, обе прачки, оставшиеся одни после смерти кормильца во времена Коммуны. В своей комнатушке Женевьевеа разогрела протертый суп, поела, сидя на краешке односпальной кровати при свете масляной лампы, и минут десятьостояла у окна, как делала каждый вечер.

Сейчас она, неподвижная и прямая, словно все еще облаченная в медицинский халат, с высоты озирает улицу – так же бесстрастно сторож смотрит вдаль с маяка. Женевьевеа делает это не потому, что хочет полюбоваться городскими огнями или помечтать – она лишена романтических устремлений. Такие минуты покоя нужны ей для того, чтобы похоронить в душе все, что за день случилось в больничных стенах. Она открывает окно и развеивает по ветру накопившиеся к вечеру в памяти образы – опечаленные и ехидные лица, запахи эфира и хлороформа, стук каблуков по плитке коридоров, эхо стонов и причитаний, скрип железных коек под беспокойными телами. Женевьевеа хранит дистанцию – не думает о душевнобольных пациентках. Они ей не интересны. Ничья судьба ее не волнует, ни одна история не вызывает отклика. С того случая в самом начале своей службы санитаркой она раз и навсегда запретила себе видеть в пациентках реальных женщин. Воспоминания о страшном событии часто возвращаются к ней, и она снова видит набирающий силу приступ у той умалишенной, так похожей на ее сестру, видит, как искается юное лицо, а скрюченные руки хватают ее за шею и сдавливают с безумной яростью. Тогда Женевьевеа была молода и думала, что помочь пациенткам предполагает с ее стороны глубокую привязанность. Две другие санитарки общими усилиями с тру-

дом оттащили от нее ту, к кому она относилась с безмерным доверием и участием. Испытанное потрясение стало для нее уроком, и два десятка лет, которые с памятного дня Женевьевы провела рядом с умалишенными, лишь укрепили сложившееся под его влиянием мнение: болезнь обесчеловечивает, душевные недуги превращают этих женщин в марионеток, пребывающих во власти причудливых симптомов, в безвольных кукол, которых врачи вертят в руках, изучают, обследуют каждую пядь их тел. Они становятся диковинными зверушками, что внушают лишь научный, клинический интерес, перестают быть женами, материами или подростками. Они больше не люди, чью личность нужно принимать в расчет, не женщины, способные вызывать желание или любовь. Они всего лишь больные. Умалишенные. Пропащие. И ее работа заключается в том, чтобы в лучшем случае их вылечить, а в худшем – обеспечить приемлемые условия содержания до конца жизни.

Женевьеве закрывает окно, берет масляную лампу и садится за деревянную конторку, поставив лампу перед собой. В этой каморке она живет со дня приезда в Париж, и единственный предмет роскоши здесь – печурка, худо-бедно согревающая помещение. За двадцать лет ничего не изменилось. В этих четырех стенах стоит та же односпальная кровать, тот же шкаф с двумя выходными платьями и домашним халатом, та же угольная плита и та же деревянная конторка со столом – для эпистолярных занятий. Тут все из темного дерева, лишь розовый гобелен, пожелтевший от времени и вздувшийся местами от сырости, разбавляет цветовую гамму. Сводчатый потолок кое-где нависает так низко, что Женевьеве приходится втягивать голову в плечи.

Она берет лист бумаги, макает перо в чернильницу и принимается за письмо.

Париж, 3 марта 1885 г.

Милая сестрица,

вот уж несколько дней я тебе не писала – надеюсь, ты на меня не в обиде. Умалишенные на нынешней неделе чересчур беспокойны. Стоит одной сорваться, как тут же приступы случаются и у других. Такое с ними часто бывает на излете зимы. Долгие месяцы над нами довлеет свинцовое небо, в дортуаре холодно – печурки не могут как следует натопить все помещение, да и зимние болячки дают о себе знать. Все это дурно оказывается на душевном состоянии пациенток, как ты, конечно, и сама понимаешь. К счастью, сегодня выглянули первые весенние лучики, а всего через две недели настанет пора средопостного бала – да-да, ужас так скоро, – и это должно их умиротворить. Не сегодня-завтра надобно будет доставать прошлогодние маскарадные костюмы. Вот это уж точно поднимет пациенткам настроение, а заодно и всем интернам.

Доктор Шарко сегодня провел новую публичную демонстрацию. На сей раз опять показывал зрителям малышку Луизу. Бедная безумная девочка, она ужас мимит себя новой Августиной, думает, будто ее ожидает тот же успех. Надо было ей напомнить, что успех вскружил Августине голову и она в конце концов сбежала из больницы, да еще в мужском платье! Неблагодарная. Сбежала после всего, что мы, и в особенности, конечно, доктор Шарко, для нее сделали. Впрочем, безумие – приговор на всю жизнь, как я тебе всегда говорила.

Так или иначе, нынешний сеанс гипноза удался. Шарко и Бабинский вызвали у Луизы знатный припадок, публика осталась довольна. Лекторий был набит битком, как всегда по пятницам. Доктор Шарко заслуживает своей славы в полной мере. Я не решаюсь даже помыслить о том, какие открытия ему еще предстоит совершить. И всякий раз поражаюсь сама

себе – надо же, простая девчонка из Оверни, дочь сельского лекаря, нынче ассистирует выдающемуся парижскому неврологу. Должна тебе признаться, эта мысль переполняет мое сердце гордостью и смиренiem.

Приближается твой день рождения. Я стараюсь о нем не думать – слишком уж велика моя печаль. Особенно в этот день, да. Ты, должно быть, сочтешь меня глупой, но годы ничего не лечат. Я буду тосковать по тебе всю жизнь.

Милая моя Бландин... Пора уж мне идти спать. Крепко обнимаю тебя и нежно целую.

Твоя сестра, та, что думает о тебе, где бы ты ни была.

Женевьеве перечитывает письмо, перед тем как его сложить. Затем засовывает лист в конверт, помечает в правом верхнем углу: «3 марта 1885 г.», – встает из-за конторки и открывает дверцу шкафа. Под висящими там платьями стоят ряды прямоугольных коробов. Женевьеве берет один, из верхнего ряда. В коробе – сотня конвертов, все с датами в правом верхнем углу, как и тот, что у нее в руке. Она проводит указательным пальцем по надписи на конверте, что лежит сверху – «20 февраля 1885 г.», – и кладет на него новый. Закрыв короб крышкой, ставит его на место и затворяет дверцу шкафа.

Глава 2

ЭЖЕНИ

20 февраля 1885 г.

Снегопад продолжается уже три дня. Снежинки колышутся в воздухе жемчужным занавесом; белый хрусткий покров лежит на тротуарах и на деревьях в садах, цепляется за меха и за медные пряжки попирающих его сапог.

Семья Клери, собравшаяся за обеденным столом, уже не обращает внимания на хлопья, что безмятежно кружат за высокими окнами и приземляются на серебристый ковер, выстеливший бульвар Османа. Пять человек сосредоточены на собственных тарелках, режут красное мясо, только что поданное слугой. Над головами высокий потолок с лепниной, вокруг роскошная мебель и картины, предметы искусства из мрамора и бронзы, люстры и канделябры – убранство апартаментов парижских буржуа. Обычное начало вечера: столовые приборы звякают о фарфоровые тарелки, ножки стульев поскрипывают под теми, кто на них сидит, огонь потрескивает в камине, и слуга время от времени ворошит поленья железной кочергой.

Тишину нарушает глава семейства:

– Сегодня приходил Фошон. Он недоволен наследством, полученным от матери, – надеялся на замок в Вандее, но тот достался сестре. Мать отписала ему только квартиру на улице Риволи. В качестве жалкого утешения.

Говоря это, отец не поднимает глаз от тарелки. Но теперь, когда он прервал молчание, остальные тоже могут подать голос. Эжени, бросив взгляд на брата, который сидит напротив, как и все, склонившись над тарелкой, пользуется возможностью:

– В Париже болтают, Виктор Гюго очень плох. Ты о нем что-нибудь знаешь, Теофиль?

Брат вскидывает к ней удивленный взор, дожевывая мясо:

– Не больше, чем ты.

Отец тоже смотрит на дочь, не замечая, что в ее глазах искрится ирония.

– И где же именно в Париже ты это слышала?

– Повсюду. От газетчиков. В кофейнях.

– Мне не нравится, что ты ходишь по кофейням, Эжени. Это неприлично.

– Я хожу туда только для того, чтобы почитать.

– Тем не менее. И не смей произносить в моем доме имя этого человека. Что бы о нем ни болтали, никакой он не республиканец.

Девятнадцатилетняя девушка старается сдержать улыбку – она нарочно дразнила отца, иначе тот не удостоил бы ее и взглядом. Глава семьи Клери смиряется с существованием дочери, лишь когда представитель какого-нибудь другого достойного семейства – тут подразумевается династия адвокатов и нотариусов – пожелает избрать ее в законные супруги. Тогда она обретет в глазах мэтра Клери единственное достоинство – супружескую добродетель. Эжени может себе представить, как отец разозлится, стоит ей объявить, что она не желает выходить замуж. Но это решение принято ею давным-давно. Она не приемлет для себя такой же судьбы, как у матери, которая сейчас сидит рядом, по правую руку, и чья жизнь протекает в буржуазных апартаментах, подчиненная распорядку и решениям супруга, жизнь без амбиций и страстей. Она ведь ничего не видит в этой жизни, кроме собственного отражения в зеркале, если, конечно, ей еще доставляет удовольствие на себя смотреть. Жизнь, посвященная единственной цели – рожде-

нию детей; жизнь, в которой единственная забота у нее – какой наряд сегодня выбрать. Ничего из этого не нужно Эжени. Зато она жаждет всего остального.

Слева от брата бабушка по отцовской линии с улыбкой поглядывает на нее. Бабушка – единственная в семье, кто видит Эжени такой, какая она есть: гордая и самонадеянная, бледная брюнетка с высоким лбом и пристальным взором, с темным пятнышком на радужке левого глаза. Бабушка видит, что Эжени внимательно наблюдает за всем и все подмечает втихомолку. Еще она видит во внучке потребность разрушать любые ограничения – и в знаниях, и в своих устремлениях, – потребность столь острую, что порой у Эжени от этого сводит живот.

Клери-отец смотрит на Теофиля, который ест с привычным аппетитом. Когда он обращается к старшему сыну, его тон смягчается:

– Теофиль, ты уже прочитал новые книги, которые я тебе дал?

– Еще нет, мне нужно было кое-что еще проштудировать. Возьмусь за них в начале марта.

– Через три месяца ты начнешь работать делопроизводителем, я хочу, чтобы к тому времени ты повторил все, чему успел обучиться.

– Непременно этим займусь. Пока не забыл, завтра после обеда я иду в дискуссионный салон. Кстати, там будет Фошон-сын.

– Не упоминай при нем о наследстве, а то он расстроится. Однако я одобряю твои планы – упражнения для ума весьма полезны. Франции нужна мыслящая молодежь.

Эжени поднимает голову:

– Говоря о мыслящей молодежи, вы имеете в виду и юношей, и барышень, не правда ли, папенька?

– Сколько раз тебе повторять – женщинам нечего делать в общественных местах.

– Как это печально – представить себе Париж, населенный одними мужчинами…

– Довольно, Эжени.

– Мужчины слишком серьезны, они совсем не умеют веселиться. А вот женщины могут и посторожиться, и посмеяться.

– Прекрати мне перечить.

– Я вам не перечу – мы всего лишь дискутируем. Ведь вы поощряете Теофиля в его намерении заняться этим завтра с приятелями.

– Хватит! Я говорил тебе, что не потерплю дерзости в своем доме. Выди из-за стола.

Отец со звоном бросает приборы на тарелку и буравит Эжени взглядом. Ей кажется, что густые усы мэтра Клери и обрамляющие лицо бакенбарды шевелятся от гнева. У него даже побагровели лоб и скулы. Что ж, сегодня ей, по крайней мере, удалось добиться хоть каких-то эмоций.

Девушка кладет вилку и нож на тарелку, салфетку – на стол, поднимается, кивает на прощание родственникам и под их взглядами – удрученным матери и веселым бабушки – покидает обеденную залу, вполне довольная произведенной сумятицей.

* * *

– Стало быть, ты не смогла сдержаться нынче за столом?

За окнами совсем стемнело. В одной из пяти спален апартаментов Эжени взбивает подушки, а бабушка, уже в ночной рубашке, стоит позади и ждет, когда внучка приготовит для нее постель.

– Нужно ведь было немного развлечься. За обедом царила такая скука! Садитесь сюда, бабушка.

Эжени, взяв старую женщину за морщинистую руку, помогает ей сесть на кровать.

– Твой отец дулся до самого десерта. Тебе стоит укротить нрав – говорю это ради твоего же блага.

– Не беспокойтесь за меня – едва ли я сподоблюсь упасть в глазах отца еще ниже.

Эжени берется за голые худые ноги старухи, поднимает их на постель и накрывает ее одеялом.

– Вам не холодно? Может быть, принести еще одно одеяло?

– Нет, милая, все чудесно.

Девушка склоняется к благодушному лицу той, кого она укладывает спать каждый вечер. Ей нравится смотреть в эти голубые глаза, а бабушкина улыбка, от которой щурятся выцветшие глаза и от них разбегаются веселые морщинки, – самая ласковая в мире. Эжени любит эту женщину больше, чем мать; отчасти, возможно, потому, что и бабушка любит внучку больше, чем могла бы любить родную дочь, которой у нее никогда не было.

– Эжени, деточка, твое величайшее достоинство – вместе с тем твой величайший недостаток. Ты слишком свободна.

Морщинистая рука, вынырнув из-под одеяла, касается темных волос внучки, но та на бабушку уже не смотрит – взор Эжени обращен в дальний угол комнаты, там сосредоточено все ее внимание. Она не впервые застывает так, глядя в одну точку в пространстве, но никогда не остается в подобном состоянии надолго, чтобы об этом можно было всерьез беспокоиться. Возможно, какая-то мысль или воспоминание пришли ей на ум и повергли в душевное волнение. А может быть, с ней происходит то же самое, что было в двенадцать лет? Тогда Эжени клялась, что увидела нечто невообразимое. Старуха поворачивает голову в том же направлении – в углу комнаты стоит комод, на нем ваза с цветами и несколько книг.

– Что там, Эжени?

– Ничего.

– Ты что-то увидела?

– Нет, совсем ничего. – Эжени поворачивается к бабушке с улыбкой, гладит ее по руке: – Просто я устала немного, вот и всё.

Она не может признаться, что действительно что-то увидела. А вернее, кого-то. Не может сказать, что он не появлялся довольно давно и теперь она удивилась, хоть и почувствовала его заранее. Эжени видит дедушку с двенадцати лет – он умер в тот год за две недели до ее дня рождения. А позднее вся семья собралась в гостиной, и он показался внучке впервые после смерти. Эжени тогда закричала: «Смотрите, это дедушка, он сидит вон в том кресле, смотрите же!» – ничуть не сомневаясь, что остальные тоже его увидят. И чем больше ее убеждали, что дедушки там нет, тем упорнее она стояла на своем и твердила: «Дедушка там, клянусь вам!» – пока отец не отчитал ее столь сурово и жестоко, что она с тех пор уже не осмеливалась рассказывать близким о новых визитах дедушки. Дедушки и тех, других. Потому что после дедушки стали приходить другие, как будто своим первым появлением он снял в ней какой-то заслон, отверз врата где-то на уровне грудной клетки – именно там у нее возникло ощущение, что нечто запертое распахнулось одним махом. Другие являвшиеся ей мужчины и женщины всех возрастов были незнакомцами. И возникали они не внезапно, Эжени постепенно осознавала их приближение – все члены наполнялись свинцовой усталостью, ей казалось, она погружается в странный полусон, будто из нее безжалостно выкачали всю энергию, чтобы употребить на что-то другое. Вот тогда они отчетливо проступали в пространстве – стояли в гостиной, сидели на кроватях, замирали у стола и смотрели, как семья обедает. Поначалу, когда Эжени была помладше, эти видения приводили ее в ужас и заставляли замыкаться в тягостном молчании. Страшно хотелось броситься в объятия отца, зарыться лицом в лацкан его сюртука и сидеть так, пока они не оставят ее в покое. Девочка пребывала в смятении, однако испытывала твердую уверенность в том, что это не галлюцинации. Чувство, возникавшее у нее вместе с видениями, не допускало сомнений: эти люди умерли и приходят к ней в гости.

Однажды дедушка с ней заговорил. Вернее, она услышала его голос в своей голове, ибо, как и другие видения, он оставался неподвижен и безмолвен. Дедушка попросил ее не бояться

– мол, они не желают ей зла и живых нужно опасаться больше, чем мертвых. Еще добавил, что у нее есть дар и они, мертвые, приходят к ней не без причины. Тогда Эжени было пятнадцать, но ужас, испытанный в первый раз, ее еще не покинул. С визитами дедушки она в конце концов смирилась, однако всех прочих умоляла немедленно уйти, едва они появлялись, и покойники выполняли ее просьбу. Она не хотела их видеть, не выбирала этот «дар», который считала вовсе и не даром, а скорее психическим расстройством. Эжени успокаивала себя тем, что это временное явление, убеждала, что все пройдет в тот день, когда она покинет отчий дом, видения перестанут ей досаждать, а пока нужно просто терпеть и хранить все в тайне, даже от бабушки, потому что, если повторится та история, ее немедленно отправят в Сальпетриер.

* * *

Во второй половине следующего дня снегопад наконец утихает, дает столице передохнуть. На белых улицах стайки ребятишек устраивают артиллерийские обстрелы снежками, кружа между фонарями и скамейками. Париж залит белесым и ярким, почти слепящим светом.

Теофиль выходит из подворотни и направляется к фиакру, который ждет у кромки тротуара. Рыжие кудри выбиваются из-под цилиндра. Он поднимает воротник, прячет в него подбородок, на ходу натягивает кожаные перчатки и открывает дверцу. Одной рукой поддерживает сестру, помогая ей подняться на подножку. Эжени в черной накидке с широкими рукавами и накинутым на голову капюшоном. Шиньон украшен двумя гусиными перьями – ей не слишком нравятся шляпки с цветами, которые нынче в моде у парижанок.

Теофиль подходит к кучеру:

– На бульвар Мальзерб, к дому девять. И заклинаю вас, Луи, если отец спросит, скажите, что я был один.

Слуга на облучке жестами изображает, что у него рот на замке, и Теофиль садится в фиакр рядом с сестрой.

– Все еще злишься, братец?

– Уж ты умеешь разозлить, Эжени.

Сегодня сразу после обеда, прошедшего в полной безмятежности за отсутствием главы семейства, Теофиль удалился к себе на ежедневную двадцатиминутную сиесту, а затем начал собираться в дорогу. Он уже надевал цилиндр, стоя перед зеркалом, когда в дверь постучали. Четыре удара – условный стук сестры.

– Входи.

Эжени, открывшая дверь, оказалась полностью одетой и причесанной для выхода в город.

– Опять в кофейню собралась? Отец не одобрит.

– Нет, я еду с тобой в дискуссионный салон.

– Ни в коем случае.

– Это почему же?

– Тебя не приглашали.

– Так сам меня пригласи.

– Там будут только мужчины.

– Какая жалость.

– Вот видишь, ты сама не хочешь ехать.

– Мне просто любопытно взглянуть одним глазком, что там у вас творится.

– Мы сидим в салоне, курим, пьем кофе или виски и делаем вид, что философствуем.

– Если все так скучно, как ты описываешь, зачем ты туда ходишь?

– Хороший вопрос. Наверное, затем, что так принято.

– Возьми меня с собой.

– У меня нет ни малейшего желания навлекать на себя гнев отца. Он меня в порошок сотрет, если вдруг узнает.

– О гневе отца тебе нужно было беспокоиться, когда ты бегал к некой Лизетте на улицу Жубера.

Теофиль, окаменев от неожиданности, во все глаза уставился на сестру, а та ему лишь мило улыбнулась:

– Жду тебя у выхода.

В фиакре, который с трудом пробирается сквозь снежные заносы, Теофиль выглядит озабоченным.

– Уверена, что матушка не заметила, как ты уходила?

– Матушка меня вообще не замечает.

– Ты несправедлива к ней. Никто в этой семье не строит против тебя козней, знаешь ли.

– За исключением тебя самого.

– Воистину. Я как раз собираюсь обсудить с отцом, за кого бы выдать тебя замуж и поскорее. Тогда ты будешь ходить во все салоны, в какие только пожелаешь, и перестанешь мне докучать.

Эжени смотрит на брата с улыбкой. Ирония – единственное, что есть у них общего. Особой привязанности они друг к другу не испытывают, но и вражды не питают. Оба чувствуют себя не столько братом и сестрой, сколько добрыми знакомыми, живущими под одной крышей. У Эжени, впрочем, было предостаточно поводов завидовать брату – он старший, а стало быть, любимый сын, ему дали хорошее образование, в нем уже видят будущего нотариуса, как в ней – будущую мать семейства. Но мало-помалу она пришла к выводу, что положение брата не намного лучше ее собственного. Теофиль тоже обязан соответствовать требованиям отца, ему тоже приходится оправдывать чужие ожидания и хранить в тайне личные устремления, ибо, будь то в его власти, брат уже собрал бы чемодан и отправился путешествовать куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Да, безусловно, это их вторая общая черта – они не выбирали, где родиться. Однако тут есть и отличие – Теофиль смирился со своим положением, его сестра свое не приемлет.

* * *

Буржуазный салон похож на гостиную в их доме. Под потолком царит над всем хрустальная люстра. Один слуга, лавируя между гостями, разносит виски в бокалах на серебряном подносе, второй подает кофе в фарфоровых чашечках.

Стоя у камина или сидя на диванчиках прошлого века, молодые люди что-то обсуждают вполголоса, курят папиросы и сигары. Это новая парижская элита, благонамеренная и конформистская. На лицах написана гордость от того, что они родились в респектабельных семьях; их движения раскованны и непринужденны – сразу видно, что эти люди не знали физического труда. Слово «ценности» для них обретает смысл лишь применительно к картинам, украшающим стены, и к общественному статусу, который достался им даром.

Молодой человек с иронической усмешкой подходит к Теофилу. Эжени стоит в сторонке, озирая светское общество.

– Клеры, не знал, что сегодня ты явишься в такой очаровательной компании.

Теофиль краснеет до корней рыжих локонов:

– Фошон, позволь представить тебе мою сестру Эжени.

– Это твоя сестра? Вы совсем не похожи.

Фошон подступает ближе к девушке, берет ее руку, затянутую в перчатку. Его липкий взгляд вызывает у Эжени легкое отвращение. Фошон оборачивается к Теофилу:

– Отец говорил тебе о бабкином наследстве?

– Да, я в курсе.

– Мой батюшка обижен до глубины души – сколько его помню, он всегда мечтал о вандейском замке. Но если уж кто и должен обижаться, так это я – старуха мне вообще ничего не оставила. Единственному внуку! Ну да ладно. Эжени, выпьете чего-нибудь?

– Кофе. Без сахара.

– Эти гусиные перья у вас на голове выглядят презабавно. Вы внесете веселое оживление в наше сегодняшнее соборище.

– Стало быть, вы все-таки умеете веселиться?

– Она еще и дерзкая! Восхитительно.

В этом тихом местечке время течет с утомительной неспешностью. Приглушенные голоса бубнят по углам, эхо разговоров в небольших группах сливаются в единый мотонный фон, прерываемый звоном бокалов и звяканьем чашек. Табачный дым полупрозрачной нежной пеленой кольшется над головами; алкоголь размягчает и без того расслабленные тела. Эжени, сидящая в обитом бархатом кресле, зевает, прикрываясь ладонью. Брат ее не обманул – в подобные салоны можно ходить лишь потому, что так принято. Дискуссии здесь похожи не столько на споры, сколько на пристойный обмен мнениями, а умники, претендующие на образованность, повторяют заученные банальности. Разумеется, говорят о политике – на слуху колонизация, президент Греви, законы Жюля Ферри, – еще немного о литературе и театре, но очень поверхностно, ибо эти области деятельности в их глазах призваны скорее развлекать публику, нежели интеллектуально обогащать ее. Эжени не особенно вслушивается, у нее даже нет желаниянести переполох в этот мирок посредственных идей, хотя порой ей хочется вмешаться, разгромить в пух и прах узколобые суждения, указать на противоречия в аргументах. Но она заранее знает, какая последует реакция – эти мужчины уставятся на нее, высмеют сам факт, что она осмелилась заговорить, и взмахом руки отметут все ее доводы, указав ей на место, предписанное приличиями. Гордые умы не любят, когда им бросают вызов – тем более если это делает женщина. Мужчины удостаивают представительницу слабого пола вниманием, только если ее внешность в их вкусе. Другие женщины, способные поставить под сомнение их мужественность, а стало быть, и верховенство, заслуживают лишь насмешек, или хуже того – от таких попросту избавляются. Эжени слышала историю тридцатилетней давности о том, как некая Эрнестина вознамерила выйти за рамки отведенной ей роли жены и прошла курс обучения кулинарному искусству у своего кузена шеф-повара в надежде когда-нибудь открыть свой рестораник. Муж, убоявшись, что она займет главенствующее положение в семье, отправил ее в Сальпетриер. Множество подобных историй, происходивших с начала века, рассказывали в парижских кофейнях и в газетных рубриках со всякой всячиной. Женщину, позволившую себе возмутиться изменениями супруга, объявит сумасшедшей было так же легко, как полуумную бродяжку, выставляющую срам на обозрение прохожим. Сорокалетнюю даму, рискнувшую показаться на публике под руку с двадцатилетним мужчиной, заперли в дурдоме за распутство, а молодую вдову туда упекла свекровь, поскольку вдова слишком долго скорбела по мужу. Сальпетриер превратился в выгребную яму, куда сваливали всех, кто нарушал устоявшийся общественный порядок, в лепрозорий для тех, чей душевный строй не соответствовал ожиданиям, в тюрьму для дерзнувших обзавестись собственным мнением. Но говорили также, что с появлением Шарко двадцать лет назад больница Сальпетриер изменилась – теперь там содержатся лишь те, кто действительно страдает истерией. Несмотря на подобные речи, оставались сомнения. Двадцать лет – ничтожный срок, за это время невозможно перевернуть образ мыслей, глубоко укоренившийся в обществе, где всем заправляют отцы и мужья. Ни одна женщина не может быть до конца уверена в том, что ее речи, ее индивидуальность, ее чаяния и мечты не проложат ей путь к страшному зданию в Тринадцатом округе Парижа. Поэтому женщины держатся настороже. И даже Эжени, при всей своей отваге, знает, что есть границы, которые нельзя переступать. Особенно в салоне, полном всемогущих мужчин.

* * *

- ...но это же еретик! Его книги должны гореть на костре!
- Слишком много чести. Сжечь его книги – стало быть, признать, что он заслуживает внимания.
- Это калиф на час, порождение моды, скоро его предадут забвению. Да и в конце концов, многим ли нынче известно его имя?
- Вы говорите о том, кто утверждает, будто привидения существуют?
- Не привидения – *духи*.
- Безумец!
- Утверждение о том, что дух может существовать вне материи, противоречит всякой логике. Это идет вразрез с биологическими законами!
- Да бог с ними, с законами. Если духи и правда существуют, почему бы им не заявлять о своем присутствии почаще?
- А вот сейчас и проверим! Бьюсь об заклад, в этом салоне есть духи. Пусть докажут нам свое присутствие – сбросят книгу с полки или подвинут стол.
- Мерье, угомонитесь. При всей абсурдности темы, я считаю, что шутить такими вещами недопустимо.
- Эжени выпрямляется в кресле, тянет шею, прислушиваясь, – она впервые за все время в салоне заинтересовалась беседой.
- Это не только абсурдно, но и опасно. Вы читали «Трактат о духах»?
- К чему терять время на эти небылицы?
- Нужно знать, что критикуешь. Я вот прочитал и смею заверить, некоторые пассажи глубоко оскорбили мои христианские чувства.
- Что тебе за дело до слов человека, который якобы общается с покойниками?
- Он заявляет, что нет ни ада, ни рая, и оправдывает прерывание беременности на том основании, что плод, дескать, не наделен душой!
- Какое кощунство!
- Да по нему виселица плачет!
- Как зовут человека, о котором вы говорите?
- Эжени встает с кресла; к ней сразу подходит слуга, чтобы забрать пустую чашку. Мужчины обворачиваются и с удивлением смотрят на юную особу, которая до сих пор тихонько сидела и молчала, а теперь вдруг позволила себе задать вопрос. Теофиль замирает, охваченный опасениями – сестра непредсказуема, и всякий раз, как она открывает рот, не обходится без скандала.
- Фошон, стоя возле канапе с сигарой в руке, улыбается:
- Птичка с гусиными перышками наконец-то подала голосок. И что же тебя так заинтриговало? Надеюсь, ты не спиритка?
- Пожалуйста, скажите, как зовут того человека.
- Аллан Кардек. Чем он раздразнил твоё любопытство?
- Вы слишком пылко его обсуждали. Раз уж ему удалось пробудить такие страсти, он, должно быть, в чем-то прав.
- Или грубейшим образом ошибается.
- Я постараюсь составить об этом собственное мнение.
- Теофиль проталкивается среди гостей к Эжени, хватает ее за руку и шепчет в ухо:
- Если не хочешь, чтобы тебя распяли на месте, советую немедленно уйти.
- В его взгляде читается не столько суворость, сколько беспокойство. Эжени чувствует, как со всех сторон ее полосуют неодобрительными взглядами с ног до головы. Она кивает брату и с

прощальным жестом покидает собравшихся. Во второй раз за два дня ее уход сопровождается гробовым молчанием.

Глава 3

ЛУИЗА

22 февраля 1885 г.

– Снег такой красивый. Мне хочется погулять в парке.

Прислонившись плечом к оконному стеклу, Луиза меланхолично водит мыском ботинка по плитке пола; полные руки скрещены на груди, рот кривится в гримасе. За окном идеально ровный снежный ковер поблескивает на парковых лужайках. В снегопады умалишенным запрещены прогулки. Одежда, которую им выдают, недостаточно теплая для зимы, а хрупкие тела уязвимы – подхватить воспаление легких проще простого. К тому же, резвясь в снегу, они могут перевозбудиться. Так что всякий раз, когда вокруг становится белым-бело, пациенткам Сальпетриер дозволяется гулять только по дортуару. Женщины бродят из угла в угол, разговаривают с теми, кто не отказывается их слушать, двигаются безжизненно, играют в карты без особой охоты, разглядывают собственное отражение в оконных стеклах, заплетают косы соседкам – и все это в атмосфере смертельной тоски. Утром они открывают глаза, и сама мысль о том, что нужно как-то пережить долгий день, наполняет усталостью тела и мысли. Здесь нет часов, поэтому время кажется застывшим, а дни – нескончаемыми. В этих стенах, где единственное событие, вносящее разнообразие, – осмотр у врача, время – заклятый враг. Оно выдергивает на поверхность глубоко запрятанные мысли, будит воспоминания, распаляет тревоги, возвращает сожаления. От времени, которое неизвестно когда закончится и закончится ли вообще, здесь страдают отчаяннее, чем от самих недугов.

– Хватит ныть, Луиза, иди посиدي с нами.

Тереза – толстуха с морщинистым лицом, – расположившись на своей койке, вяжет шаль под любопытными взглядами поклонниц. Руки с искривленными пальцами неутомимо вытягивают петельку за петелькой. В ее подарки наряжаются с удовольствием и гордостью, носят их как драгоценный знак внимания и заботы, которыми тут никто не избалован.

Луиза пожимает плечами:

- Лучше побуду у окна.
- Если долго плятиться на волю, станет только хуже.
- Нет, наоборот, сейчас как будто весь парк принадлежит мне одной.

В дверном проеме возникает мужской силуэт – молодой интерн обводит взором дортуар и замечает Луизу. Девушка тоже его видит – и сразу расплетает руки, распрямляется, пытается сдержать улыбку. Он кивает ей многозначительно и исчезает в коридоре. Луиза, украдкой осмотревшись, ловит неодобрительный взгляд Терезы, тотчас отводит глаза и торопливо выходит из дортуара.

В пустой палате распахнута дверь, но ставни опущены. Луиза, войдя туда, осторожно прикрывает за собой створку. Молодой человек ждет ее в полутиме.

– Жюль…

Девушка бросается в его объятия, сердце у нее колотится так, что вот-вот выпрыгнет. Жюль гладит ее по волосам на затылке, и все тело Луизы охватывает дрожь.

- Где ты пропадал эти несколько дней? Я тебя ждала.
- Навалилось много работы. Я и сейчас ненадолго, меня ждут на лекции.
- О нет!
- Луиза, потерпи. Совсем скоро мы будем вместе.

Интерн берет ее лицо в ладони, гладит по щекам большими пальцами.

– Позволь тебя поцеловать, Луиза.

– Нет, Жюль...

– Сделай одолжение. Я весь день буду чувствовать вкус твоего поцелуя.

Она не успевает еще раз возразить – Жюль склоняется к ней и нежно целует. Он чувствует сопротивление, но все равно продолжает, ибо лишь настойчивостью можно добиться своего. Его усы щекочут полные губы девушки. Украденного поцелуя Жюлю мало – он принимается мять ее грудь, тогда Луиза его резко отталкивает и пятится. Ее руки и ноги дрожат, колени подгибаются, и она, сделав два шага, опускается на край кровати. Жюль, как ни в чем не бывало, подходит и встает перед ней на колени:

– Ну зачем ты так, крошка? Я же тебя люблю, ты ведь знаешь.

Луиза его не слышит, ее взгляд неподвижен и устремлен в пространство. Сейчас она снова ощущает на своем теле руки тетиного мужа.

* * *

Все началось с пожара на улице Бельвиль. Луизе едва исполнилось четырнадцать. Она спала в дворнице, в одной каморке с родителями, когда на первом этаже разбушевалось пламя. Проснулась от жара и, еще полусонная, почувствовала, как руки отца подхватывают ее и выталкивают в окно. С другой стороны Луизу приняли соседи, стоявшие на тротуаре. У нее кружилась голова, и было трудно дышать. Она потеряла сознание, а в себя пришла в доме у тетушки. «Теперь мы твои родители», – сказали ей. Девочка не плакала. Смерть представлялась ей временным явлением – настоящие родители обязательно оправятся от ожогов и скоро придут за ней. Так что, решила она, нет смысла впадать в уныние, нужно просто ждать.

Теперь она жила у родной тети и ее мужа в квартирке с мезонином за парком Бютт-Шомон. Вскоре после той трагедии тело Луизы стало наливаться соками, грудь и бедра быстро обретали форму. Не прошло и месяца, а девочка, которой она быть перестала, уже не могла натянуть на себя ни одно старое платье. Тетушке пришлось перешить для нее одно из своих: «Походишь в нем летом, а к зиме что-нибудь придумаем». Тетушка была прачкой, ее муж – разнорабочим. Этот человек никогда не заговаривал с Луизой, но едва она созрела, начал странно на нее посматривать – девушка часто ловила на себе пристальный взгляд темных глаз. В его взгляде было что-то, чего Луиза не понимала, но догадывалась, что просто еще не доросла до этого, и непрошеное взрослое внимание вгоняло ее в глубокое смущение, заставляя чувствовать себя неуютно. В собственном теле Луизе теперь тоже было неуютно, оно словно перестало ей подчиняться, и она ничего не могла с этим поделать, как и с повышенным интересом к своей персоне, сопровождавшим ее теперь не только дома, но и на улицах. Дядя ничего не говорил и не прикасался к ней, но Луиза стала плохо спать по ночам, как будто женский инстинкт подсказывал ей, что нужно бояться с его стороны каких-то действий. Лежа на матрасе в мезонине, она просыпалась от малейшего шороха и скрипа на деревянной лестнице, которая вела к ее распостертыму телу.

* * *

Настало лето. Луиза с другими подростками бродила по кварталу. Каждое утро дворовая банда убивала время как могла – ребята носились наперегонки по крутым косогорам Бельвиля, таскали сладости в бакалейных лавках, швыряли щебнем в голубей и крыс, а вторую половину дня обычно проводили в тенечке, под деревьями среди холмов парка Бютт-Шомон. Однажды в августе, когда солнце жарило так, что, казалось, плавились мостовые, друзья решили освежиться в озере. Прочим парижанам тоже пришла в голову эта мысль, так что в парке ступить

было некуда среди обитателей квартала, сбежавшихся сюда в поисках тени и прохлады. Подростки нашли на берегу укромный уголок, разделись и в нижнем белье полезли в воду. Купанье перешло в безудержное веселье – вся компания быстро позабыла о пекле, о летней скуке и превратностях взросления.

В озере они розвились, пока не стало смеркаться, а когда вернулись на берег, увидели дядю Луизы, притаившегося за деревьями. Сколько времени он тамостоял, никто не заметил. Схватив Луизу за плечи жирными потными лапами, этот человек принял ее трясти и орать, что она потеряла всякий стыд, после чего на глазах у перепуганной компании потащил за собой к дому. Она не успела застегнуть платье, и черные мокрые волосы падали на грудь, проступавшую под полуопрозрачной нижней рубашкой.

В квартире дядя толкнул ее на супружескую постель.

– Я тебе покажу, как позориться на людях, бесстыдница! Уж ты этот урок запомнишь!

Упав на кровать, Луиза смотрела, как дядя расстегивает ремень, и думала, что он собирается ее выпороть, – будет больно, конечно, но быстро заживет. Однако он бросил ремень на пол, и тогда Луиза закричала:

– Нет! Дядя, нет!

Она вскочила, и он ударил ее наотмашь так, что девушка рухнула обратно на кровать, навалился сверху всем телом, не давая пошевелиться, разорвал платье, раздвинул ее голые ляжки и расстегнул панталоны.

Он еще двигался в ней, а Луиза еще кричала, когда вернулась тетя и застала эту сцену. Луиза протянула к ней руки:

– Тетя! Тетушка, помогите!

Ее муж сразу вскочил, и жена набросилась на него:

– Ах ты сволочь! Чудовище! Пошел вон, видеть тебя не хочу!

Мужчина в спешке натянул штаны, накинул рубашку и кинулся за дверь. Спасенная Луиза, испытав огромное облегчение, даже не заметила кровь у себя между ног и на простины. А тетушка вдруг подскочила к ней и влепила пощечину:

– Потаскушка! Строила ему глазки – гляди теперь, что стряслось! Да ты мне еще и постель испачкала, дрянь! А ну живо одевайся и все выстирай!

Луиза смотрела на нее, ничего не понимая. Понадобилась вторая пощечина, чтобы привести ее в себя и заставить выполнить указание.

* * *

Дядя вернулся на следующий день, и супружеская жизнь продолжилась своим чередом, как будто ничего не случилось. Тем временем Луиза лежала в своей каморке, содрогаясь в конвульсиях, и не могла с этим справиться. Теперь каждый раз, когда тетя кричала, чтобы она спустилась и помыла посуду или подмела пол, девушка, согнувшись в три погибели, сползала по лестнице, а на кухне падала на пол, и ее рвало. Тетка принималась кричать на нее еще пуще, и Луиза теряла сознание. Так прошло дней пять. В конце концов сосед снизу, которому надоело слушать вопли, сотрясавшие небольшой дом, однажды вечером постучал к ним в дверь. Разбушевавшаяся тетка открыла, и он увидел у нее за спиной Луизу на полу, в луже рвоты, бившуюся в судорожном припадке, от которого голова у нее запрокидывалась назад, а ноги дергались вперед. Сосед взял девушку на руки и вместе с женой отвез ее в Сальпетриер. Оттуда Луизу так и не выпустили – она провела в больнице уже три года.

О том событии девушка вспоминала вслух редко, но если уж ей случалось о нем заговаривать, рассказ сводился к следующему: «От того, что тетушка меня наругала, было еще хуже, чем от того, что дядя меня изнасиловал».

В отделении истеричек она оказалась пациенткой, у которой припадки случались чаще и были тяжелее, чем у других. У Луизы обнаружились такие же симптомы, как у Августины – бывшей пациентки доктора Шарко, которая прославилась в Париже на его публичных лекциях. Почти каждую неделю у Луизы случались конвульсии и судороги, она падала, тряслась, выгибалась, теряла сознание. А иногда вдруг замирала, сидя на кровати, воздевала руки в исступленном восторге к небесам и взывала к Господу или к воображаемому любовнику. Интерес со стороны Шарко и успех на показательных сеансах гипноза, где она каждую неделю становилась звездой, привели Луизу к мысли, что она – новая Августина, и от этого ей сделалось легче, пребывание в больнице и воспоминания стали не такими тягостными. Кроме того, теперь у нее был Жюль. Уже три месяца Луиза твердо верила, что этот молодой интерн ее любит, что она его тоже любит, они скоро поженятся и уедут отсюда. Теперь ей нечего было бояться: она выздоровеет и наконец-то станет счастливой.

* * *

В дортуаре Женевьевы идет вдоль рядов аккуратно застеленных коеч, проверяя, все ли спокойно, чинно и гладко. От ее взора не укрылось, что Луиза только что вошла из коридора, и если бы сестра-распорядительница позволила себе повнимательнее относиться к пациенткам, она непременно заметила бы потерянный взгляд девушки и кулаки, прижатые к бедрам.

- Луиза, где ты была?
- Забыла брошку в столовой, сходила за ней.
- Кто дал тебе разрешение покидать дортуар без сопровождения?
- Это я. Женевьевы, не сердитесь.

Женевьевы оборачивается к Терезе – та отложила вязание и спокойно встретила взгляд сестры-распорядительницы. Женевьевы строит недовольную мину:

- Сколько раз вам повторять, Тереза? Вы пациентка, а не санитарка.
- Я знаю здешние правила лучше, чем все эти ваши зеленые медсестрички. Луизы не было всего три минуты. Да, Луиза?
- Да.

Тереза здесь единственная, с кем Старожилка не вступает в споры. Они обе провели в этих стенах два десятка лет, и хотя годы не сблизили их по-настоящему – Женевьевы строго придерживается правила ни к кому не привязываться, – все же вынужденное сосуществование и нравственные испытания, вместе пережитые здесь, породили в обеих взаимное уважение и душевное согласие. Они обе это чувствуют, пусть и не обсуждают. Каждая из них заняла свое место и с достоинством исполняла принятую роль: Тереза – приемной матери для пациенток, Женевьевы – матери-наставницы для юных медсестричек. Они часто обменивались полезными сведениями – Вязунья могла рассказать о какой-нибудь умалишенной, чтобы успокоить или, наоборот, предупредить Женевьеву, а Старожилка держала Терезу в курсе достижений Шарко и событий в Париже. Однажды Женевьевы с удивлением осознала, что Тереза – единственная, с кем она говорит не только о том, что касается Сальпетриер, но и на отвлеченные темы. Летним днем в тени дерева в парке или в уголке дортуара во время осеннего ливня сестра-распорядительница и пациентка отделения истеричек годами чинно беседуют о мужчинах, с которыми они не общаются, о детях, которых у них нет, о Боге, в Которого обе не верят, и о смерти, которой не боятся.

- Луиза садится рядом с Терезой, с деланным интересом разглядывая собственные ботинки.
- Спасибо, Тереза.
- Мне не нравится, что ты якшашься с тем интерном. Глаза у него недобрые.
- Он на мне женится.
- Неужто сделал тебе предложение?

- Сделает на средопостном балу в следующем месяце.
 - Ну жди, жди.
 - Вот возьмет и сделает, на глазах у всех наших девчонок и у гостей! Так и сказал!
 - Он сказал, а ты и поверила? Бедняжечка Луиза… Мужчины наболтают что угодно, лишь бы добиться своего.
 - Он меня любит, Тереза.
 - Никто не любит сумасшедших, Луиза.
 - Ты просто завидуешь, потому что я стану женой врача! – Девушка вскакивает с койки, ее сердце гулко колотится, щеки раскраснелись. – Я вырвусь отсюда и стану жить в Париже. Нарожаю детей! А у тебя ничего этого не будет!
 - Мечты – опасная штука, Луиза. Особенно, если их исполнение зависит от кого-то другого.
- Луиза, тряхнув головой, словно для того, чтобы выкинуть из нее эти слова, поворачивается к Терезе спиной, идет к своей койке и, свернувшись калачиком, натягивает одеяло до самой макушки.

Глава 4

ЭЖЕНИ

25 февраля 1885 г.

В дверь спальни постучали – Эжени тотчас захлопнула двумя руками книгу, которую читала, и спрятала ее под подушку. Она сидит в кровати; распущенные волосы, перекинутые через одно плечо, рассыпались по груди.

– Войдите.

В спальню заглядывает слуга:

– Ваш кофе, мадемуазель Эжени.

– Спасибо, Луи. Поставьте вон там.

Слуга неслышно ступает по ковру и ставит маленький серебряный поднос на тумбочку рядом с масляной лампой. Из кофейника струится парок; нежный, бархатистый аромат горячего кофе заполняет девичью спальню.

– Что-нибудь еще?

– Нет, идите спать, Луи.

– Вы тоже постарайтесь заснуть, мадемуазель.

Слуга исчезает за дверью, бесшумно прикрыв ее за собой. В апартаментах все уже спят. Эжени наливает кофе в чашку и достает книгу из-под подушки. Уже четыре дня подряд она с самого утра ждет не дождется, когда наконец ее семья и весь город заснут, чтобы в одиночестве продолжить чтение книги, взволновавшей ее до глубины души. О том, чтобы спокойно устроиться с этим трактатом в гостиной после обеда или в какой-нибудь кофейне на публике, не может быть и речи – одного лишь названия на переплете будет достаточно, чтобы повергнуть в панику матушку и вызвать осуждение со стороны чужих людей.

* * *

На следующий день после визита в унылый дискуссионный салон – об этом ее демарше отец, по счастью, так и не узнал – Эжени отправилась на поиски трактата, чей автор занимал ее мысли с тех пор, как она услышала его имя из уст Фошона-сына. Посещение нескольких книжных лавок в квартале окончилось безуспешно, а потом один букинист подсказал ей, что означенный трактат можно найти в Париже только в одном месте – у Лемари, в доме 42 по улице Святого Иакова.

Брат с собой Луи, чтобы подвез ее на фиакре, Эжени не хотелось – она решила, невзирая на капризы погоды, отправиться туда пешком и в одиночестве.

Черные сапожки бодро загребали снег на тротуарах; мало-помалу от мороза и торопливой походки у нее раскраснелись щеки, а кожу неприятно покалывало. Ледяной ветер носился по бульварам, заставляя прохожих пригибать голову. Эжени следовала указаниям букиниста: прошла мимо церкви Святой Марии Магдалины, пересекла площадь Согласия и зашагала по бульвару Святого Жермена в сторону Сорbonны. Город был белым, Сена – серой. Впереди кареты буксовали в снежных заносах, кучеры прятали носы в воротники плащей. На набережной букинисты сражались с холодом, то и дело бегая греться в бистро на другой стороне дороги. Эжени все старалась поплотнее запахнуть полы накидки с капюшоном, придерживая их руками, затянутыми в перчатки. Корсет ужасно стеснял движения. Если б она знала, что

идти надо будет так долго, оставила бы его в платяном шкафу. У этого аксессуара определенно имелось лишь одно назначение – намерто зажать женщину в позе, каковая считалась привлекательной, то есть, помимо прочего, лишить ее еще и свободы движений! Как будто интеллектуальных запретов было недостаточно – понадобилось ограничить женщин еще и физически. Это наводило на мысль, что мужчины расставляют для противоположного пола барьеры не столько из презрения, сколько из страха перед ним.

* * *

Эжени вошла в скромную книжную лавку и сразу попала в тепло; онемевшие от холода руки и ноги начали потихоньку оживать, щеки запылали. В глубине помещения двое мужчин склонились над кипой бумаг. Одному – наверное, книготорговцу – было лет сорок; второй, элегантно одетый, с высоким лысеющим лбом и густой белой бородой, выглядел гораздо старше. Оба одновременно поприветствовали гостью.

На первый взгляд, эта книжная лавка ничем не отличалась от всех остальных – на этажерках редкие старинные тома соседствовали с современными изданиями, в воздухе мешались запахи древней пожелтевшей бумаги и выдубленной временем древесины книжных полок, сплетаясь в единый аромат, который Эжени любила больше всего на свете. Осмотревшись повнимательнее и прочитав названия на корешках, она поняла, что эта книжная лавка все же не похожа на другие: вместо привычных романов, сборников поэзии и эссе, здесь преобладали труды по оккультным наукам и спиритизму, по астрологии и тайным учениям, по мистике и духовным практикам. Их авторы искали ответы в нездешнем, там, куда мало кто осмеливался заглядывать. Немного боязно было ступить в этот мир – как будто предстояло свернуть со знакомой дороги и углубиться в неведомый универсум, благодатный и пленительный, покрытый тайной и молчанием, тем не менее совершенно реальный. В этой книжной лавке царила атмосфера запретного, но манящего царства, о котором не дозволено говорить вслух.

– Вам чем-нибудь помочь, мадемуазель?

Двое мужчин смотрели на нее из глубины книжной лавки.

– Я ищу «Трактат о духах».

– У нас есть несколько экземпляров.

Эжени подошла ближе. Стариковские глаза в сеточке морщин смотрели на нее из-под густых белых бровей с приязнью и любопытством.

– Вы впервые знакомитесь с этим автором?

– Да.

– Вам его порекомендовали?

– Честно признаться, нет. Я слышала, как некие молодые господа, весьма благонамеренные, хулили его суждения, поэтому мне захотелось почитать.

– Как забавно! Это наверняка понравится моему другу.

Эжени непонимающе взглянула на старика, и тот приложил ладонь к груди:

– Я Пьер-Гаэтан Лемари. Аллан Кардек – мой друг. – Говоря это, издатель заметил темное пятнышко на радужке глаза Эжени. На его лице отразилось удивление, затем он улыбнулся: – Думаю, эта книга многое вам объяснит, мадемуазель.

Из книжной лавки Эжени вышла в превеликом смятении. Это было странное место, там казалось, будто содержание расставленных на полках книг источает необычную энергию, которая накапливается в четырех стенах. И оба господина разительно отличались от тех, кого она встречала в Париже. В их взглядах не было ни враждебности, ни одержимости – оба смотрели на нее внимательно и дружелюбно. Еще казалось, будто они владеют знанием о том, что другим неведомо. При этом издатель разглядывал ее так пристально, словно распознал в ней нечто

особенное, но Эжени не понимала, что именно. Она и без того раз волновалась, так что решила пока об этом не думать.

Спрятав трактат под накидку, девушка пустилась в обратный путь.

* * *

Часы с маятником в спальне прозвонили три раза. Кофейник уже опустел, на дне чашки осталось немного остывшего кофе. Эжени закрывает книгу, которую только что дочитала до конца, и замирает с ней в руках. В тишине комнаты она не слышит тиканья часов, не чувствует, что голые руки покрылись мурашками от холода. Бывают странные моменты, когда мир вдруг перестает быть таким, каким он раньше казался, и самые незыблемые представления о действительности рушатся под влиянием новых идей, ведущих к осмысливанию совсем другой реальности. Эжени думает, что до сих пор она смотрела в неверном направлении, а теперь ее заставили повернуть голову и увидеть именно то, что она должна была видеть всегда. Ей вспоминаются слова издателя, услышанные несколько дней назад: «Эта книга многое вам объяснит, мадемузель», – и слова дедушки, призывающего ее не бояться. Но как можно не бояться того, что в твоих глазах столь абсурдно, дико и невообразимо? Раньше она была уверена, что есть лишь одно объяснение: ее видения вызваны психическим расстройством. Видеть покойников – признак умопомешательства. Рассказать об этом кому-то – значит обеспечить себе немедленную изоляцию от общества. И ее не поведут к врачу, а прямиком отправят в Сальпетриер. Эжени смотрит на книгу, которую не выпускает из рук. Ей пришлось ждать целых семь лет, чтобы наконец узнать правду о себе на этих страницах. Семь лет, чтобы перестать чувствовать себя ненормальной. Для нее тут каждое слово исполнено смысла: душа продолжает жить после смерти тела; не существует ни рая, ни полного небытия; бесстелесные сущности присматривают за людьми, указывают им путь и всячески опекают, как дедушка опекает ее; некоторые индивиды наделены способностью видеть и слышать *духов* – в том числе она. Разумеется, ни одна книга, ни одна философская доктрина не может претендовать на абсолютную истину – это лишь попытки найти объяснения, и личное дело каждого, какое из объяснений принять, ибо любому человеку, вполне естественно, нужны конкретные доказательства.

Христианские идеи никогда не казались ей убедительными – Эжени не отрицала возможность существования Бога, но предпочитала думать о Нем как о неком абстрактном понятии. Поверить в рай и ад было еще труднее – жизнь и так преисполнена страданий, поэтому мысль о том, что наказание будет длиться и после смерти, выглядит абсурдной и несправедливой. Следовательно – да, предположение, что призраки существуют и что они тесно связаны с людьми, можно допустить; утверждение, что цель жизни на земле состоит в постоянном нравственном самосовершенствовании, она готова принять, а знание о том, что с физической кончиной ничего не заканчивается, придает ей уверенности и освобождает от страха перед жизнью и смертью. Ее мировоззрение никогда еще не подвергалось такой встряске, и никогда она не испытывала такого облегчения.

Теперь Эжени наконец знает, кто она такая.

* * *

Следующие несколько дней Эжени наслаждалась душевным покоем. Семейство, наблюдавшее за ней во время совместных трапез, удивлялось – за столом царила безмятежность, отцовские замечания принимались с улыбкой. Так скромно и благонравно она себя еще никогда не вела, и все пришли к наивному заключению, что девица наконец-то образумилась и возмечтала о замужестве. Но тайна, которую она теперь безмолвно хранила, еще не подсказала ей, как быть дальше. Эжени твердо знала лишь одно: ей больше нечего делать в отчим доме. Необходимо

сблизиться с людьми, разделяющими ее убеждения. Ее место там, подле них. Свой дальнейший путь предстоит согласовать с новой философией. Перемены, произошедшие в ней, требуют тщательно продумать будущее и действия на ближайшее время.

Весной она покинет этот дом.

* * *

– Ты такая умница в последние дни, Эжени.

Бабушка лежит в постели, умостив голову на подушке. Внучка поправляет одеяла, укрывшие хрупкое старческое тело.

– Надеюсь, вам это по нраву, ведь папенька теперь не сердится из-за меня.

– Ты все время в задумчивости. Неужто встретила молодого человека?

– К счастью, на размышления меня наводят вовсе не молодые люди. Выпьете отвар перед сном?

– Нет, милая. Присядь-ка сюда.

Эжени опускается на краешек кровати. Бабушка берет ее руку в свои. Свет масляной лампы играет с тенями, вырисовывая их силуэты и выхватывая из темноты предметы мебели в спальне.

– Я же вижу – тебя что-то беспокоит. Можешь мне довериться.

– Ничто меня не беспокоит. Наоборот, все хорошо.

Эжени улыбается бабушке. Она уже несколько дней раздумывает о том, не открыть ли ей свой секрет. Бабушка уж точно выслушает до конца и не назовет сумасшедшей. Искушение слишком сильно – Эжени отчаянно хочется излить душу, рассказать кому-нибудь о том, что она видела и чувствовала до сих пор, поделиться своим смятением и радостью. Тогда бремя тайны будет не таким тяжелым. Но она не может решиться. Риск слишком велик – вдруг мать случайно пройдет по коридору в момент ее признаний и что-то услышит, или бабушка попросит почтить «Трактат о духах» и по рассеянности забудет его в гостиной у всех на виду. Эжени не доверяет этим стенам. Она непременно расскажет обо всем бабушке, но потом, когда перебедит из отцовской квартиры в другое место.

В спальне распространяется запах парфюмерной воды. Эжени, сидящая рядом с пожилой женщиной, узнаёт этот древесный аромат с нотками смоковницы, тот самый, что помнит с детства. Смоковницей пахла дедушкина рубашка, когда он подхватывал маленькую Эжени на руки. Дыхание девушки замедляется. Знакомая усталость мало-помалу сковывает члены. С каждым выдохом из нее испаряется энергия. Эжени опускает веки, слабея под навалившейся тяжестью, затем открывает глаза – он здесь, стоит напротив, спиной к закрытой двери. Она видит его так же отчетливо, как бабушку, которая в это время с удивлением смотрит на внучку. Эжени узнаёт светлые волосы, зачесанные назад, глубокие морщины на щеках и на лбу, белоснежные усы – он имел привычку подкручивать их кончики двумя пальцами, большим и указательным, – щегольский шейный платок, серо-голубой кашемировый жилет, идеально подобранный к узорчатым панталонам, облегающим длинные худые ноги, неизменный бордовый редингот... Дедушка неподвижен.

– Эжени!

Она не слышит бабушкин оклик – в голове звучит голос деда:

«Медальон не украден. Он в комоде, под самым нижним ящиком, справа. Скажи ей».

Эжени, встрепенувшись, обращает лицо к бабушке – та приподнялась на подушках и протягивает к ней хрупкие руки:

– Деточка, да что же с тобой такое? Ты так замерла, будто с тобой говорит Господь.

– Ваш медальон...

– Что?

– Медальон, бабушка.

Эжени встает, берет масляную лампу и, подойдя к массивному комоду из палисандра, опускается рядом с ним на колени. Она принимается доставать один за другим тяжелые ящики, аккуратно ставит их на пол. Бабушка тоже встала, накинула на плечи шаль. Не решаясь пошевелиться, она некоторое время наблюдает за внучкой.

– Эжени, объясни мне наконец, что происходит. Почему ты вспомнила о моем медальоне?

Все шесть ящиков уже на полу. Эжени шарит рукой в глубине комода, ощупывает доски в дальнем правом углу и поначалу не чувствует ничего особенного, потом вдруг палец попадает в дыру. Дыра не настолько большая, чтобы в нее можно было просунуть кисть, но туда вполне могло бы провалиться небольшое украшение. Эжени несколько раз ударяет кулаком по старой рассохшейся деревянной планке – та с треском поддается.

– Медальон в самом низу. Попросите Луи принести проволоку.

– Эжени, право слово…

– Прошу вас, бабушка, доверьтесь мне.

Встревоженный взгляд пожилой женщины на секунду застывает на ее лице, затем бабушка выходит в коридор. Деда Эжени сейчас не видит, но знает, что он еще здесь, – у комода сильнее пахнет парфюмерной водой. Он совсем рядом.

«Ты можешь ей рассказать, Эжени».

Девушка закрывает глаза. Тело налилось свинцом. Она слышит шаги бабушки и Луи, молча вошедших в комнату. Дверь бесшумно закрывается за ними. Луи без лишних вопросов протягивает Эжени моток металлической проволоки. Она отламывает кусок, согбает пруттик на конце так, что получается нечто вроде крючка, и опускает его в дыру. Под этой планкой есть еще одна, потолще – днище комода, а между ними пустое пространство. Эжени осторожно исследует крючком каждый сантиметр деревянной поверхности.

В конце концов крючок на что-то натыкается. Девушка осторожно согбает проволоку еще в одном месте, чтобы другой конец мог двигаться точно по горизонтали. Слышно, как крючок чиркает по металлу. Эжени с бьющимся сердцем поворачивает проволоку, пытаясь зацепить то, что может оказаться цепочкой от медальона. Несколько замысловатых маневров – и из дыры показывается серая цепочка, она тянет за собой какой-то предмет. При свете лампы цепочка оказывается запыленной позолоченной, она висит на крючке из проволоки, а на другом ее конце качается вермельевый² медальон. Эжени протягивает его бабушке, и пожилая женщина, охваченная чувством, которого ни разу не испытывала после смерти супруга, подносит обе ладони ко рту, чтобы сдержать рыдания.

* * *

В тот самый день, когда бабушка с дедушкой познакомились, он, восемнадцатилетний, поклялся взять ее в жены. Бабушке тогда было шестнадцать. И еще до помолвки в знак подтверждения своей клятвы он преподнес ей подарок – фамильную драгоценность, передававшуюся из поколения в поколение много веков. Это был овальный вермельевый медальон, украшенный по контуру жемчугом в темно-синей оправе. В середине была миниатюра – женщина, наполняющая амфору водой из реки, – а с обратной стороны украшения будущий дед Эжени положил под стеклянную крышку прядь своих белокурых волос.

Бабушка надевала медальон каждое утро, без исключений, с того самого дня, когда получила его в дар, и потом, в ту пору, когда уже вышла замуж, когда родился их единственный сын, когда увидели свет внуки. В младенческом возрасте Эжени очень нравилось это украше-

² Вермель – позолоченное серебро.

ние – девочка хваталась за него ручонками, едва увидев, дергала и теребила; тогда бабушка, из страха, что ребенок сломает драгоценную вещицу, спрятала медальон в нижний ящик комода, решив, что будет снова его носить, как только внучка немного подрастет. В то время семейство Клери занимало те же апартаменты на бульваре Османа; ее супруг и сын вели дела в нотариальной конторе, а она вместе с невесткой занималась детьми. Однажды после полудня, когда обе женщины гуляли в парке Монсо с маленьkim Теофилем и кормилицей, слугой, которого Клери наняли совсем недавно, воспользовался отсутствием хозяев, чтобы обчистить богатые апартаменты. Он украл сколько смог унести – столовое серебро, часы, драгоценности, все, что мало-мальски блестело. Вернувшись к вечеру домой, женщины с ужасом обнаружили картину ограбления. Медальон, лежавший в нижнем ящике комода, тоже исчез. Решив, что слуга забрал его вместе с остальными вещами, бабушка проплакала целую неделю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.